

противники Худ. театра, вроде Кугеля, признавались, что „Чайка“ произвела на него неизгладимое впечатление, а один из тех театральных деятелей, кто выдвигал принцип романтического театра, яркий противник натуралистического Худ. театра, в своей книге писал: „Я никогда не забуду представления „Моцарт и Сальери“, я ходил всю ночь по Москве“, потрясенный виденным и т. д.

Так, многие принципиальные противники, отрицавшие то воздействие, которое шло со сцены, склонялись перед высоким мастерством театра, но те, кого мы называли условно зрителями, те исключительно остро испытывали всю гамму эмоций, что звучала на сцене в игре актеров. Достаточно было только войти в зрительный зал на представление любого спектакля, как условно называемый зритель сразу чувствовал, что им начинает овладевать совершенно особое настроение, он забывал, где он. Зритель знал, что тут он найдет поэтическую, художественную исповедь себя, своей собственной жизни, собственных индивидуальных настроений, философских раздумий, социальной патетики, жгучих вопросов современной жизни.

В итоге получался такой гипноз, такое заражение, которое влияло на всех присутствующих на спектакле Худ. театра, которое делало из массы индивидуальностей один коллектив, живший одной жизнью со сценой. И стоит только перелистать в памяти, что давал Худ. театр, перед вами встает вся интеллектуальная жизнь русской городской интеллигенции первых десятилетий XX века. Обо всей массе постановок я не буду говорить, но должен напомнить некоторыми иллюстрациями, что испытывал зритель этого театра. Конечно, те зрители, которые чувствовали тяготы нашей общественной жизни, которые в этих постановках находили отклик на злобу дня, смотря, напр., „Доктора Штокмана“, должны были переживать настроения, подобные тем, о которых повествует один из таких зрителей. Вот он идет туда...

„Приятно было вдыхать крепкий и бодрящий воздух, слушать звонкие удары копыт и колес по подмерзшей мостовой, слухом ловить все разнообразные и теперь, в этом чистом воздухе, красивые звуки большого людного города, глазами пробегать по стройным силуэтам побелевших деревьев и думать, что впереди предстоит еще наивысшее наслаждение: ведь сегодня в Художественном театре впервые идет ибсеновский „Доктор Штокман“...

...До настоящей минуты я не могу отрешиться от впечатлений того вечера, глубоких, пронизывающих душу, даже страшных в своей порабащающей силе, и если краски мои покажутся слишком густы, то я не виноват в этом: нельзя безвредно для душевного равновесия переживать минуты такого высокого под'ема, при этом еще с т а д н о г о под'ема, какой дал всем присутствующим „Доктор Штокман“ в исполнении артистов Художественного (но не „общедоступного“) театра.

И я не боюсь подробно остановиться на описании этого вечера, так как общественное значение подобных редких моментов, когда тысячи людей, дурных и хороших, умных и глупых, волнуются одним и тем же властным чувством, становятся единым сердцем и единым разумом, сами превращаются в толпу с ее стихийностью чувствований и поступков, велико и заслуживает самого внимательного рассмотрения.

Уже в первые минуты после входа в театр, когда занавес был еще закрыт, по оживленным и даже возбужденным лицам входящих было заметно, что ожидается что-то новое, необыкновенное и страшно интересное. Трудно понять язык, на котором говорит в эти минуты толпа: немного более обыкновенного блеска в глазах, шумнее разговоры, оживленнее и ярче жестикуляция, но этого достаточно, чтобы мгновенно создалось ощущение необычного, праздничного и с силой охватило каждого. И когда зал погрузился во тьму, и, колыхаясь, раздвинулся серый полог, открыв квартиру д-ра Штокмана со всей ее поразительно переданной интимностью жилища частного лица, недоступного посторонним, я уже готов был плакать, радоваться, улыбаться, страдать,—делать все то, что прикажут мне со сцены. А тут, как на зло, вопреки слухам о закрытии дверей, по всему залу рыщут темные тени запоздавших, наполняя воздух шмурыганьем ног, сдержанным шопотом и к самому лицу вашему подставляя недоумевающие, растерянные физиономии с явно обозначенным вопросом:—а где тут пятый ряд?—и с видимым желанием бросить дальнейшие поиски и в отчаянии сесть на ваши колени,—если вы позволите.

Но вот вошел в свою квартиру д-р Штокман и все затихло. Может быть опоздавшие еще рыскали, может быть кто-нибудь уже сидел на моих коленях, но если бы даже на спину мне уселся слон из Зоологического сада, я не почувствовал бы в эту минуту. Штокман (мне невольно хочется прибавить „господин“,—так трудно поверить в действительность, в небытие этого человека) только что вошел, он только еще сказал несколько „домашних“ слов, а вы уже видели его всего, как на ладонке, уже знали, что за дивно светлая, наивно честная и глубоко любящая душа сидит в длинном теле этого ученого, с его добродушной, конфузливой близорукостью, быстрой, топающей, нащупывающей землю походкой и бесконечно милой суетливостью домовладыки, наивно, по девичьи влюбленного в свое крохотное, свежее испеченное хозяйство. И вы уже всем сердцем любили его, как старого, немного смешного друга, как живое воплощение всего человечески-светлого, о чем в ненастные ночи тоскует ваша душа, и в чистых звуках его счастливого смеха вы уже чувствовали трагические нотки: ведь не на радость осуждены такие люди... „Не из праха выходит горе и не из земли вырастает беда, но человек рождается на страдание, как искры, чтобы устремиться вверх“ (книга о Иове, гл. 5,